

Максим Осипов

Фантазия

рассказ

— Стой, сука!

Сейчас его схватят за руки, отволокут к темной «Вольво». Страшная сила, давящая, и одновременно внимательная — чтоб не орал, не поранился. Он успеет задать идиотский вопрос — за что? — перед тем как заткнут рот. Дальше будет провал и другая история, если что-нибудь будет, если не сразу сожгут в печи. Он думал иначе прожить этот день, особенно его окончание, но подобные вещи и случаются — вдруг.

— Вы, — думал сказать он сегодня тем восьмерым девицам, которых к нему записали на курс, — вы соль земли, вы на вес золота. Сценарист — единственная авторская профессия. Режиссер может не делать вообще ничего: актеры сыграют, оператор красиво их снимет, а монтажер смонтирует. Поэтому все и хотят в режиссеры. — Он тряхнет головой. — Никакие они, конечно, не режиссеры. Вы, — повторит, — на вес золота.

Он напугает девиц эрудицией, потом расскажет историю, в которой сам предстанет в смешном и нелепом свете, — запас историй большой, и это всегда обаятельно. Он мастер, они его ученицы. Их дело учиться у мастера, его — прояснить для них материю кинематографа: что такое кино, а что таковым не является. Потом они вместе посмотрят фильм.

— Превращение, — он пощелкает пальцами. — Дело все в превращении, если оно происходит, то... Понимаете?

И достаточно — для первого дня занятий. Потом он отправится к близнецам, подарит им сборник своих сценариев, там его вкусно покормят, потом вернется домой — к Варе, жене, и к Анюте, дочери, — те уже будут спать. Такой план.

Утро началось со смешного незначительного происшествия. Спускаясь в лифте со своего последнего этажа, он погляделся в новое, появившееся после ремонта зеркало, потом посмотрел на парадный портрет вождя — маршальский китель, звезды, — приклеился намертво, не оторвать, — и собрался его поскрести ключом, когда увидал надпись: ПАЛАЧЬ, с мягким знаком, синим по белому кителью. Хотя и печатными буквами, но руку Анюты нельзя не узнать. Грустно, с одной стороны, — чему только учат в этой Гнесинской десятилетке? — а с другой, трогательно. Вместе со звездочкой он соскребает с генералиссимуса мягкий знак.

Об авторе | Максим Осипов — постоянный автор «Знамени» с 2007 года. Живет в Москве и в Тарусе. Повести и рассказы Осипова переведены на двенадцать языков, он лауреат нескольких премий, вручаемых за малую прозу. Сайт автора в Интернете: maxim-osipov.ru.

Дом старый (придумал: во всех теперь отношениях сталинский), в подъезде всего лишь двенадцать квартир, так что не может быть и сомнений в том, кто наклеил портрет — жилец с ужасной фамилией Воблый: не Вадик же, скрипач-виртуоз, притащил эту дрянь, не Тамара Максимовна, педагог по сценической речи, нет — Воблый, бывший топтун, — больше никому. Выходя из подъезда, пригнулся: после ремонта остались стоять неразобранные конструкции — строительные леса, сплетения из труб. Сейчас он увидит этого самого Воблого — теплое время года тот проводит на улице: дома курить не дают, да и профессиональная привычка, видимо, — возле подъезда торчат. Правда, в последнее время выходит со стульчиком, говорит: позвоночник больной.

— Это у всех у нас. Работа-то вся на ногах. Раньше не было камер наружного наблюдения. Ни этих, сотовых.

Что тут скажешь? Действительно, не было.

— Трудиться, Андрей Георгиевич? — спросит Воблый и взглянет на часы.

Он кивнет ему, на мгновение почувствует себя виноватым — двенадцать, а он только выходит из дому — и отправится, да, на работу, пешком. В их районе за лето расширили тротуары, а проезжую часть, соответственно, сузили, улицы выглядят непривычно. Нарочно сделает крюк, чтоб пройти мимо школы, французской, которую он заканчивал: типовое здание, пятиэтажное, недавно к нему приделали нарядный стеклянный куб — не в стиле, но Москва ведь вся эклектичная. И, между прочим, сегодня возле подъезда он Воблого не нашел. Того уже не было видно несколько дней — такое случалось, если его помещали в госпиталь, подлечить позвоночник. И то, пускай полегит. Этот ПАЛАЧЬ его сильно развеселил.

Да, школа была французская, считалось — лучшая, потом — ничего себе тоже — мехмат МГУ, хотя к математике выдающихся способностей не было. Как и к французскому, как (думалось в плохие минуты) вообще ни к чему. Но друзьям, а их было много, он казался, напротив, человеком разнообразных, больших дарований.

— Вы меня любите просто как вещь. — Стравинский, он помнит, похожим образом откликнулся на кончину Шаляпина. Может быть, не Стравинский, кто-то еще.

— Нет, Андрюша, это ты сам себя любишь как вещь, — отвечали друзья. — А мы... Мы тебя просто любим.

И он успокаивался, на какое-то время: чувства товарищей и подруг носят характер безусловный, нуждаются в обновлении. Конечно, желание нравиться (вполне в его случае простодушное) — недостаток, но для художника, для артиста, естественный. Частый, во всяком случае. Говоря о грехах: из гражданских деяний он самым постыдным считает вступление свое в комсомол. Мальчик с семейной историей антисоветской деятельности — в квартире у них дважды производился обыск (взрослые говорили — шмон), — он помнит, как удивленно посмотрела учительница: Андрей написал заявление чуть ли не раньше, чем весь его класс. Глупость, ужасная глупость, и вовсе не обязательная — в восемьдесят седьмом. Зато с женщинами неизменно был честен, оттого и женат уже в третий раз.

Он — сценарист, его знают, хотя, как известно, доцененных художников нет. Не только сценарии, он и пьесы писал, пока не увлекся кино, потом, когда появилась Анюта, стал работать на телевидении. А что же мехмат? Математика — высшее достижение человеческой мысли, никакой практической цели он не преследовал, отправившись на мехмат. Откровенно сказать, это тоже уступка была — родителям, самому ему хотелось другого: ставить, играть, сочинять. Те-

атральная студия МГУ находилась в то время на очень приличном уровне, и он пропадал в ней все вечера, а к экзаменам — подчитает и сдаст. Видно, были все же способности. И армии избежал.

Математика математикой, есть кое-что, чему научиться сложнее: трезвиться и бодрствовать, не унывать. Ничего ведь сопоставимого даже с тем, что пережили родители, не говоря уж о бабушках-дедушках, не происходит. Да, страшно-вато. Но больше ведь скучно, не правда ли? Так что не следует добавлять окружающим — тем, кто дороги нам не как вещь, — дополнительной тяжести. Может, не так все и плохо? Может, все лучше, чем кажется? Нельзя же просто сидеть ненавидеть режим. Надо работать, писать, детей учить музыке (жена Варя преподает гармонию), русскому языку. Тем же, кого он меньше щадит, чье спокойствие не так ему дорого, он, напротив, советует — эвакуироваться поскорей:

— Нам не хватает воображения. Эмиграция — жуткая вещь: парижский чердак или, не знаю, многоквартирный дом в Бруклине... А вот представить себе часового на вышке, подъем в шесть утра — нет, не хватает фантазии.

У самого у него с фантазией хорошо. Поэтому после разговоров про вышки и часовых, им же начатых, он ночами ворочается без сна. Обещает себе, что проснется, исполненный радости, благодарности — родителям, дочке, жене (в Бога он верит все меньше), друзьям, наконец, но чаще и чаще, в последнее время особенно, просыпается с сердцембиением, несвободный, скованный. Но он с этим справится, непременно. Во всяком случае, его девочки не должны страдать — с таким настроением он живет последние два с половиной года, в таких мыслях дожил до первого сентября.

— Андрей Георгиевич, почему вы ушли с телевидения? — Лидия из Краснодара: низкий лоб, челка и мелкий, характерный такой говорок.

— С телевидения все приличные люди ушли. — Разве она не заметила?

У них на Кубани... — При чем тут Кубань? Эта Лидия — очень активная девушка. Что она раньше делала?

Студентам сценарного отделения всем уже около тридцати, образование у всех, профессия.

— Работала в ЖКХ, а что?

Так почему он ушел, она спрашивает.

— Решил, что не буду снова вступать в комсомол.

Непонятно? И хорошо.

Вот его новый курс: две Насти, две Оли, пара невзрачных юношей (эти, он знает, скоро отсеются, попросту перестанут ходить), девушка Лидия и, наконец, главный источник опасности — умница, брюнетка с зубами, Рахиль. Курс двухгодичный, коммерческий, брать надо всех, есть только две разновидности учеников, которых он опасается, — безумцы и умницы. Вот и одна из них: неровные крупные зубы, большие глаза. Верхние десны видны, когда улыбается. Сценариев тут не дождешься — фантазии ни на грош, голова ее переполнена Делезом и Дерридой, заморочит она его разговорами. Но — Рахиль, восемьдесят седьмого года рождения: кто-то назвал свою дочь Рахилью в восемьдесят седьмом.

Итак, он их будет учить ремеслу сценаристов. Да-да, ремеслу, дорогие мои: продлившись без малого двести лет, романтическая эпоха закончилась. Время, когда художник сидел во главе стола, полного знати, всех этих ужинов Рихарда Вагнера с Людвигом, королем Баварским, минуло, кануло. Идеи о вдохновении, внушаемом свыше, если они у вас есть, забудьте их, выбросьте из головы. Некогда, в дни триумфов — он произносит имя известного пианиста, друга родителей (Рахиль кивает, остальным оно не говорит ничего), — его наставляли вести себя рядом с гением незаметно, ступать бесшумно, как в доме смертельно больного,

не приведи Бог заговорить о прошедшем концерте, тем более — будущем, вообще о музыке. То ли дело теперь, с молодыми ребятами, а среди них немало есть изумительных мастеров, тот же Вадик (он называет фамилию), сосед его: народ был? принимали нормально? как прошло? Хмыкнет: прошло. Или просто: сыграл, как смог. Все, пошли пьянствовать.

Ученики притихли, Лидия что-то записывает в тетрадь. В кармане у него вибрирует телефон. Посмотрим: нет, номер ему незнаком, — и он переходит на то, что визуальные виды искусства — кинематограф в первую очередь — все больше теснят литературу и музыку, он не знает, виной ли тут недостаток воображения, но ту же музыку он предпочитает слушать теперь с картинкой, в видеозаписи. Так что, коллеги, умение писать сценарии, сочинять кино — вещь полезная, хотя в нынешней ситуации, в нашей нынешней ситуации, он их должен предупредить, перспективы отнюдь не радужны, и если они пришли за рецептом быстрых успехов, то рецептов нет — успехов, ни быстрых, ни медленных, не последует:

— Придется нам разделить судьбу многих замечательных архитекторов: наши грандиозные здания будут существовать на бумаге — в журналах и сборниках, на экраны не попадут.

Стук в дверь. Девушка из канцелярии.

— В кадры зайдите, пожалуйста.

Она, что же, не видит? — он проводит занятие.

Надо заполнить учетный листок. Написать, в каких зарубежных странах он побывал за последние десять лет.

— Нельзя написать — во всех?

— Что означает — во всех?

Начинает перечислять: Австрия, Бельгия, Венгрия, Греция... — глупо, в присутствии учеников.

— В кадры зайдите, — перебивает девушка. — Не позже вторника, с заграничным паспортом.

Он выходит за ней в коридор: что случилось-то?

— Ваше личное дело затребовали.

Почему шепотом? Уже и дело какое-то есть?

— Личное дело заводят на каждого.

А откуда затребовали? Всех — или только его?

Она пожимает плечами: к чему спрашивать? Смотрит с участием:

— Может, что-нибудь написали? Или сказали? Подумайте.

Что он мог написать? Сердце делает паузу, потом производит сильный толчок. Снова и снова — пропуск, толчок. Он знает: сердце не остановится, это так называемые экстрасистолы, ничего опасного, все равно как-то нехорошо. Делает несколько вдохов, возвращается в класс: ну что, давайте смотреть кино?

Движение пыли в луче проектора, белый экран, полутьма — серьезные фильмы смотрят не в телевизоре. Он покажет им «Листопад», потом разъяснит, как эта картина устроена. Подсказывает, на что обратить внимание: на семейные фото, на стук бильярдных шаров, расстроенное пианино в кабинете директора, на крупные планы, нечастые, на русскую речь по радио, на то, что любое почти событие повторяется дважды, имеет свое отражение. Так невысохшие чернила отпечатываются на соседней странице, если захлопнуть тетрадь.

— Какие грузинки усаые, — вздыхает одна из Оль.

Не будем смеяться над Олей. Еще впечатления? Самого его «Листопад» неизменно гармонизирует, примиряет с действительностью. Между прочим, создатель этого фильма тоже провел на мехмате несколько лет, перед тем как по-даться в кино.

Так о чем это? Ничего ведь почти не случилось: в сущности, мелкое производственное событие. А помещается в вечность — крестьянскими сценами, чередой фотографий, финальным ударом в колокол. С его точки зрения, фильм — о рождении личности, о достоинстве.

— Укорененности, может быть?

Да, спасибо, Рахиль. А откуда возникло название, не ясно ему самому: в августе листья не падают.

— Вегетативный цикл винограда. Созревание ягод, потом побегов, и листопад. Подготовка растения к зиме.

Вот оно что, Рахиль — ботаник, в прямом смысле слова: окончила биофак. Научное знание и так никому не вредит, а для художника это ценнейший источник метафор.

— Насквозь антирусский фильм, — вдруг заявляет прекрасная Лидия.

Он улыбается:

— Может, антисоветский?

Маленький лоб ее собирается складками:

— Это одно и то же, без разницы.

Нет, ему так не кажется. Разница есть.

— Андрей Георгиевич, как вы относитесь к действующей власти? Нашей, да, нынешней. — Лидия спрашивает как имеющий право знать, смотрит прямо ему в глаза.

Он вспоминает о разговоре с девицей из канцелярии. Отшутиться цитатой? — но зачем-то он показывал им «Листопад». Отвечает резко:

— Отношусь отрицательно.

Рахиль ударяет в ладоши несколько раз: она ему аплодирует, больше никто.

— Все, пишите задание.

Вместе с нею дошел до метро. Она работала в школе до недавнего времени, пока это не стало совсем невозможно, по причинам, всем нам понятным.

— Как я рада, что именно вы наш мастер, Андрей Георгиевич. Вы не только замечательно талантливый человек, но и очень смелый. Одного без другого и не бывает, ведь так? — Попрощались с ним за руку.

В вагоне вспомнил про телефон. Звонков накопилось шесть штук, с одного и того же неизвестного номера. Доехал до «Воробьевых гор», выбрался на платформу. Какая-то ерунда: «Вызов не может быть установлен». Странно, деньги на телефоне есть. Неполомки в сети? Попробовал снова — все то же. И дальше поехал, до «Юго-Западной».

К близнецам он ходит один. Будут: хозяйки, подруги его — Ада и Глаша, Аделаида с Аглаей (вот, что делает любовь к Достоевскому), их мужья Александр и Алексей — он не сразу научился их различать — положительные, немного скучные, инженеры, — редкая по нынешним временам профессия, будут дети их, они уже стали подростками, еще, вероятно, три или четыре пары гостей.

Ада старшая, десятью минутами раньше сестры появилась на свет. «Каково это, иметь свою точную копию?» — «Мы привыкли, — отвечают они, — а каково это, не иметь?». И живут рядышком, на шестнадцатом — две квартиры, общий балкон. Учились вместе с ним в МГУ, на химическом факультете, и тоже учебе предпочитали театр. — Живое время было тогда, да, Андрюш? Вспоминают: все курили вокруг, и у них от волос, от платьев тоже пахло всегда сигаретами. Было весело — сами костюмы шили, сами строили декорации. Близнецам найдется что поиграть: они, например, «Кентервильское привидение» сделали очень смешно, но для Ады и Глаши театр так и остался игрой, не превратился в профессию. Счастье, что никакой любовной истории с этими девушками не было

у него, почти никакой. С Глашей кое-что было, и то, скорей, под влиянием минуты, давно.

Из гостей пока что — одна семейная пара, он никогда не знает, как их зовут. А где, спрашивает, такие-то? — В Грузию перебрались. — Надо же. Как-то он этот момент упустил.

— Конечно, с твоим размахом... — Глашенька издевается? Вроде бы, нет.

Разговоры обычные: о том, что — вот, лето кончилось, о здоровье родителей, а больше — об их тяжелых характерах, о достоинствах и недостатках сиделок из республик бывшего СССР. Ему сказать по этому поводу нечего: его родители в сиделках пока не нуждаются.

— Андрюш, ты сегодня не в фокусе, — сестры хотят, чтоб он отвлекся уже от закусок, что-нибудь рассказал. Тем более что у них еще жареный фазан впереди. Как его новые барышни?

Он мысленно перебирает сегодняшние события — довольно пугающие, надо признать: изъятие личного дела, ни с того ни с сего, вопросы про власть. И отсутствие реакции — даже не настороженная, а пустая какая-то, бессодержательная тишина в ответ на его заявление, одинокие, одиночные аплодисменты, лучше б их вовсе не было. Покричали бы лучше, поспорили. Прежде, с другими группами, случалось и покричать.

— Курс как курс: две Тани, две Мани, два зятя Межуева, одна агрессивная идиотка, но есть, как мне показалось, и родная душа. — Веселого мало, но тон надо взять пободрей: — Скармливаю им любимые свои мысли, одну за другой, безо всякой политики, и тут выпархивает, — он вспоминает красотку Лидию, — такая, знаете, сучка-пташечка — тонкие губы, маленький рот.

Слушатели переглядываются: Андрюша удивительно наблюдательный. По вести, он не помнит, какой у Лидии рот, это сказалось само. Доводит повествование свое до конца: упоминает и кадры, и канцелярию, додумывает немножко — всякой истории, даже простой, нужны кульминация и развязка. Теперь, досказав, он ждет, что его успокоят, утешат: нестрашно, мол, у нас в институтах, на предприятиях тоже проверки — для галочки, у всех теперь план, в том числе по проверкам, не о чем беспокоиться, не те времена. Все, однако, молчат.

— Ладно. — Надо закончить на тонике. — Если остался тут жить, будь готов ко всему.

Разговор после этого снова как-то виляет, путает, то съезжает на прошлое, то на детей, уже и вино ими выпито, и съеден фазан, и он рассуждает вслух о неверной нашей идее о справедливости — что она, справедливость, всегда в чем-то главном присутствует или восторжествует вот-вот:

— И ничем не вытравить этого детского заблуждения. В итоге, за нами придут, а мы только спросим — за что? Я и сам избалован. Мне никогда, например, оценок не ставили ниже, чем я заслуживал. Учился прекрасно, особенно в школе, хотя знал иногда — на троечку в лучшем случае.

— А у меня, — произносит внезапно Леша, — наоборот.

У Леша иное представление о справедливости. Если тебе дали больше, чем ты заслужил, — какая тут справедливость? У него, впрочем, и притязания скромней. И Леша, от которого раньше слова не слышали, рассказал, как они с товарищами ходили весной на суд, вернее — к суду, их не пустили в здание.

— Стоим мы и час, и два, что-то выкрикиваем, а больше переминаемся с ноги на ногу — холодно, так что пришлось отойти по нужде. Вернулся, дальше стою. Товарищей потерял: народу собралось все же несколько сот человек. Пока отходил, появились автобусы, с обеих сторон перекрыли проезжую часть. Объявляют: «Граждане, не мешайте проезду транспорта». А мы — на тротуаре стоим. Потом полиция — со щитами, со шлемами — начинает хватать из толпы одного, друго-

го, чаще тех, кто кричит или имеет отличительную особенность — плакат, яркую шапку или, допустим, рыжую бороду. Я и не против оказаться в автобусе — ответят в отделение, паспорт проверят и выпустят, однако специально туда не рвусь. Наблюдаю пока. А эти: «Граждане, освободите проезжую часть». Кто поближе к дороге находится, тех метут уже всех подряд. Но автобусы, даже полные, никуда не движутся, а мне, чувствую, скоро опять пора. Выясняется, что не только мне. Немолодые интеллигентного вида женщины говорят: неплохо бы запастись пластмассовыми бутылками, потому что если отрезать горлышко... Смеются: вам, мужикам, хорошо, можно не отрезать. И тут я просто ушел — не понравилась мне идея мочеиспускания в автобусе. И на то, как бабы в бутылки писают, тоже смотреть не хочу.

— И все?

— Да, ушел. И закончилась моя протестная деятельность.

— Андрей стал настоящим преподавателем. — Почему-то Глаша о нем сказала в третьем лице. — Ему неуютно, когда кто-то дольше него говорит.

Так и есть, надо брать разговор в свои руки:

— Дело, мне кажется, в недостатке фантазии. Конечно, как представишь себе тяготы эмиграции... Приютит меня... — он называет общего друга, который живет в Брюсселе с давних времен. — У него квартира огромная. Или, — другой их знакомый, — в Хьюстоне целый дом. Вот он ушел на работу, потом пришел с нее, ну а ты, что ты создал сегодня? С Голливудом что-нибудь движется? Ты заглядываешь в холодильник, а он почему-то морщится. «Может, Андрюш, попроще работу пока поискать?» Что, пиццу поразносить или постричь кусты, помести улицу? «Только не думай, никто ведь не гонит тебя. Ну вот, ты обиделся...» Представить, как дети от тебя отдаляются, борьбу свою с алкоголем, с тоской — на это хватает фантазии. А как вам крики «Подъем!» в шесть утра, цех по пошиву варежек? Запах немых тел, необходимость соблюдать этикет, специфический, лагерный. Продолжать? Угроза для жизни — ежеминутная, нехватка тепла, еды, воздуха. Дело даже не в «ради детей» — нам бы о себе позаботиться. Инерция — страшная вещь. Знаете биографию Киссинджера? Помните, сколько они тянули, прежде чем сбежать из Баварии? А ведь мы не смышленее Киссинджера, я уверяю вас.

— Хьюстон... — произносит Ада задумчиво. — Мы, Андрюш, в Вильнюсе квартиркой обзавелись.

— Да? Давно?

— А вот после Лешиного похода к суду.

Дачу продали. Дачи жаль, но приходится чем-то жертвовать. Вильнюс, рассуждают они, от всего не спасет. Впрочем, с израильским паспортом... — Ого, у них и израильский паспорт есть? — Только у Саши пока и у Глаши. — Он не знал, что Саша еврей. — Немножко, по бабушке, но как раз то что надо — со стороны матери.

— Похоже, Андрюш, ты останешься в лавке один.

Пауза.

— «Пир продолжается. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость», — декламирует Глаша.

Жестоко. Но, в общем, по делу. Ада выразительно глядит на сестру:

— Это ведь так, на всякий пожарный. Может, и не понадобится.

Остальные занялись уже чаем с конфетами и коньяком.

Тут душновато. Он поднимается из-за стола, идет в соседнюю комнату, подходит к окну. Теплый московский вечер, зажглись огоньки. Ада отворяет дверь на балкон: когда стемнеет, станет совсем хорошо. Не центр, конечно, но им их район нравится. А если высунуться и посмотреть вон туда... — Ада отодвигает стекло.

— Не надо, пожалуйста! — он отступает в прихожую.

Он стал побаиваться высоты.

— Страшно, что балкон упадет?

— Заглядеться боюсь. Поддаться минутному искушению и...

Она подзывает сестру.

— Слушай, нам не нравится твоё состояние. Ты, Андрюш, всегда выходил за рамки предлагаемых обстоятельств. Но и знал, когда пора уже отодвинуть театр и готовиться к сессии.

Да, было такое... Он надевает ботинки: подвигаться надо, пройтись. Ничего, если не прощаясь?

— Или, знаете... Ноги не держат. Сестрички, вызовите такси.

Они провожают его, целуют каждая в свою щеку:

— Мы слабостью сильны.

— А слабы мы безмерно. — Улыбаются, машут рукой.

Их ласка в иных обстоятельствах была бы очень приятна — такие они красавицы и такие свои, но сегодня он мало чувствует. Ни близнецы, ни выпитое вино не развеселили, не опьянили его. Да он и не пил почти.

— Твою ж мать! — водитель ударяет по тормозам, выводит его из болезненной дремоты. — Видал, что творит? Этим, — вставляет ещё ругательство, — можно все. Номер видал? ЕКХ97. Знаешь, что это за серия?

Откуда ему знать про какие-то номера? Просит чуть-чуть приглушить радио — русский рэп, не худшее по нынешним временам, пусть будет, только потише — и снова пробует дозвониться тем, кто искал его, пока у него шли занятия. Теперь механический голос ему предлагает ввести индивидуальный пароль. Какого черта? Что за пароль?

— По этим навороченным аппаратам, — водитель тычет пальцем в его телефон, — могут любого вычислить. Кто где находится, о чем говорит. Даже если вырубить, и батарею вытащить. Спецтехнологии. Все мы под колпаком.

Лучше назад было сесть. Что там про автомобильные номера? — И водитель ему рассказал: когда он неделю назад тещу свою хоронил, то в обход очереди из похоронных автобусов к крематорию подрулил мужик — один, без помощников — тоже номера ЕКХ, «Форд», минивэн — подошел к работникам, те ему помогли два гроба сгрузить — завезли их внутрь, мужик с ними тоже прошел — все, через три минуты выходит, развернулся, и нет его.

— А кто в тех гробах? — Он старается, чтоб голос его не дрожал.

— Хрен его знает. Может, такие, как мы с тобой.

Ему становится ощутимо нехорошо, он начинает часто дышать — до помутнения в глазах, до жуткого сердцебиения. Как окно открыть? Опускает стекло до конца, подставляет лицо потоку холодного воздуха. Не спрашивая разрешения, поворачивает колесико радио — прибавляет громкости. Он больше не слышит водителя — любой рэп, любое говно лучше, чем эти истории о гробах. На зеркале надпись: *Objects in mirror are closer than they appear*. В такт музыке принимается повторять: *Objects in mirror / Closer than they appear*. Предметы в зеркале ближе, чем кажутся. Ближе, чем кажутся или чем появляются? Учите матчасть. Где они closer? В зеркале? Ум за разум. *Objects in mirror...* Что это значит?! — Что? Нет, блевать он не собирается. Одностороннее? Ничего, выйду тут. Домой, скорее бы. Как же его трясет! Он доходит, почти добегают до поворота в свой переулок, вон он — подъезд. Еще каких-нибудь тридцать метров, и он у себя. Но прямо на тротуаре рядом с подъездом — незнакомая темная «Вольво», огни не горят, но мотор работает. И длинные тени возле нее. Номер? Какие буквы, как он сказал? Номера как будто нарочно грязью заляпаны. Нет, тень одна, но двой-

ная. Он сжимает в кармане ключи — можно ударить ключами или бросить связку в чужое окно, разбить, устроить переполох. Рвануться? Бежать? Он не чувствует ног. Допрыгался, Киссинджер? Сейчас, сейчас он сделает шаг или два и услышит окрик: «Стой, сука!» — и страшная сила схватит его за плечо.

Тень щелкает зажигалкой, прикуривает. Боже мой, Воблый!

Тот тоже узнал его:

— Андрей Георгиевич, отдыхать?

Не помня себя, он бросается открывать дверь, как вдруг — удар в голову. Трубы, леса, он забыл про них — не пригнулся, входя. От удара садится на корточки, прижимает руку ко лбу. Нет, крови нет. Переводит дух. Воблый над ним склоняется, хочет помочь — не надо, все хорошо. Все действительно хорошо, только очень болит голова.

«Саечка за испуг» — так это называлось в школе. Надо бы приложить холод. Вошел в лифт, прислонился к зеркалу лбом, постоял с полминуты. Нажал свою кнопку, и, пока поднимался к себе, все прошло. Отстранился от зеркала, посмотрел внимательно на себя: давно его так не колбасило. «Саечка за испуг» — он забыл уже и французский, и математику, а такая вот ерунда помнится до сих пор.

Тихо вошел в квартиру, заглянул в спальню, а затем и к Анюте, дочери. Так он и думал, спят. Кто это, Геббельс, своих девочек отравил напоследок? Вышел на кухню, у окна постоял, посмотрел на темный пустой тротуар. Потом прошел в ванную, взял мыло, щетку, набрал в таз воды и тер стенку лифта, пока целиком не отдраил ее от усатой сволочи. Ошметки смел в шахту. Полюбовался на пустую, еще мокрую стенку лифта, опять взглянул на свое отражение в зеркале. Ну что, можно снова считать себя молодцом?